



Сергей Чередниченко

ФЕНОЛЫНБИЙ ГОРОД

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ

Всю эту зиму мы просто жили в однокомнатке-малосемейке на востоке Москвы в доме, назначенном под снос. Горячей воды и отопления не было, и мы спасались самодельным обогревателем типа «козел», от него шли слабые волны сухого тепла — можно было отогреть руки. В двух кварталах от здания, в котором мы коротали отпущенное нам время, располагалась онкологическая больница. Там, на заднем дворе возле мусорных баков, мы подобрали несколько дражных сырых матрасов. Они сплошь были в пятнах мочи и крови. Пока тащили их до дома, а потом на седьмой этаж, несколько раз передыхали — матрасы показались нам неестественно тяжелыми. Помню, я еще пошутил, что поднимаем мы не вату, от времени скатавшуюся в колтуны, а раковые опухоли и страдание тех людей, чья кровь и моча расплывалась по ткани матрасов бесформенными пятнами. Леха сказал, что вырвет мне язык. Мы сложили тюфяки на полу и спали все вместе, укрывшись куртками. Но как ни кутайся, как ни жмись друг к другу, все равно к утру окоченеешь и проснешься. Это странное состояние окоченения, когда все тело будто в столбняке, но где-то внутри, возле самых костей, пробивает дрожь, и каждое движение дается с натугой, как вдох зашедшемуся плачем ребенку. Из-за холода приходилось рано вставать, возиться на кухне, потом бесцельно бродить из угла в угол, стараясь согреться.

Нет, поначалу все складывалось не так уж плохо. Как только я приехал в Москву, сразу, с вокзала, позвонил Ольге Юрьевне. Через два часа мы встретились с ней на Пушкинской площади. Она накормила меня крошкой-картошкой с грибами и сыром. Там продают их в киосках. Как тебе объяснить? Это такая огромная горячая картофелина, как-то по-особенному поджаренная. Ее разламывают

на две половины и в середину кладут разные наполнители, какие сам выберешь. Я выбрал грибы и сыр. Очень вкусно, только мало. Мы сидели с Ольгой Юрьевной напротив памятника Пушкину, она все веселилась, рассказывала, как дала отставку обоим своим любовникам. Мне было даже весело слушать это, потому что она с цинизмом рассказывала, в своей манере. Она пообещала подыскать мне работу — и я был доволен. Оставалась только проблема жилья. Честно говоря, я рассчитывал перекантоваться какое-то время у нее, но она деликатно отказала. В конце концов, она созвонилась с какой-то своей знакомой Светой, и мы поехали куда-то на юг, на станцию Академическая. Света жила и работала техничкой в огромном общежитии с коротким названием ДАС. Она поселила меня на гостевой режим как своего сродного брата. Это стоило всего пятьдесят рублей в сутки, но поселиться можно было не дольше, чем на десять дней. Я заплатил пятьсот рублей в кассу и еще столько же Свете за услугу, это была половина всех моих денег. Но тогда я еще не переживал. Я очень устал в тот день от всех этих новых впечатлений, отрубился в восемь часов и проспал до полудня.

Забыл сказать... Когда сидели с Ольгой Юрьевной на Пушкинской площади, к нам подошла какая-то женщина и спросила, как пройти на Никитский бульвар. Меня поразило, с каким автоматизмом Ольга Юрьевна ответила ей, с каким отсутствием интонации, даже в лицо ей не посмотрела.

— Мы не местные, — ответила Ольга Юрьевна.

Такое короткое и исчерпывающее выражение. Мы не местные. Оно сразу запало мне в голову. Уже позже я понял, что оно значит. Вернее, насколько оно значимо для этого города, в котором половина жителей — не местные.

Так я просуществовал в общежитии до самого сентября. В Светкиной комнате жил, кроме меня еще один ее сродный брат — Мишка Казанцев. Это был высокий и очень худой парень с каштановыми волосами до плеч. Он постоянно горбился, будто стесняясь своего роста, держал голову низко, смотрел под ноги, а во время разговора часто и невпопад скидывал голову, бросал пронзительный короткий взгляд и снова опускал голову. И улыбался он так же нелепо и невпопад. Глаза у него были иссиня черные, а зубы для курильщика

неестественно белые, и длинные волосы падали на лицо. Это трудно сказать словами, это надо видеть — во всей его внешности читалось (а может быть, мне казалось это, мне тогда много чего казалось), что на нем лежит некая печать. Скажу так: если бы Мишка шел в толпе, среди десятков других людей, и на эту толпу смотреть со стороны, то взгляд сам собой падал бы на него. Но, конечно, он был обычным человеком, как все мы — из мяса и костей. «Привет, — сказал он при первой встрече, — я музыкант». Указал на прислоненную к стене гитару и улыбнулся до смерти светло и как-то виновато. Он всегда таскал с собой свою гитару, дорожил ей, потому что это было единственное, что хоть немного связывало его с миром. Что тут говорить, сквозь все его улыбки мне почти сразу стало ясно, что Мишка в таком же положении, как и я: без денег, жилья и смысла жизни. И со смертью в душе.

Он сбежал в Третий Рим из Кокчетава, русского городка в северном Казахстане. Его отца, потомственного казака, местные националисты пырнули ножом в темном переулке; Мишка продал дом и подался «покорять столицы». Приехал в Москву, купил очень хорошую и дорогую испанскую гитару. Он хотел осуществить многолетнюю мечту — поступить «в консерву». Но кому в московской консерватории нужен талантливый самоучка, не окончивший даже музыкальной школы? Кроме того, возникли серьезные проблемы с документами. В общем, Мишка поплатился за свою самонадеянность и остался на улице. Не знаю, как он вышел на Светку, но она помогла ему, как и мне. Он жил в ее комнате уже пятый день. Спал на коврик под батареей. Развлекал себя тем, что часами наблюдал за стройкой под окнами общаги. Посреди грязи и хаоса стройплощадки шестигранником вырисовывался фундамент небольшой церквушки. Комната наша была на одиннадцатом этаже, люди, машины под окном казались совсем маленькими, а начатки стен — кольцом на палец. Все занятия Мишки состояли в том, чтобы смотреть на стройку, слушать один за другим альбомы группы «Лакримоза» или играть на гитаре. Несколько раз в день он усаживался в угол, согнувшись в три погибели над инструментом, и принимался долбить первые два такта «Легенды» Альбениса. Пальцы у него были длинные и тонкие, но недостаточно быстрые, для продолжения мелодии скорости не доставало. Он психовал, бросал гитару, выдергивал из пачки сигарету,

усаживался на подоконник. Так, стараясь чередовать три своих невеселых занятия, Мишка прожил оставшиеся ему пять дней. Можно было остаться, прожить еще несколько дней нелегально, никто бы не заметил — общага была огромная, и охрана никак не могла уследить за всеми. Но озверев от такого времяпрепровождения, Мишка собрал свое добро, повесил на плечо гитару и вышел из общежития. В этот день ему повезло: он нашел работу монтировщика в театре им. А.С. Пушкина. Накануне услышал по радио, что на Большой Бронной есть крохотная церквушка Иоанна Богослова, построенная в XVII веке и в середине девяностых отреставрированная после советской разрухи. К таким местам он питал непонятное благоговение. Он отстоял в этой церкви утреннюю службу, а когда вышел и побрел по Богословскому переулку, оказался как раз возле служебного входа в театр. Увидел объявление о работе, зашел спросить, и его взяли.

В театре он познакомился с Лехой Чичиным по кличке Чича. Леха работал на полторы ставки: ставка монтировщика и полставки художника-оформителя. Он прибыл в столицу немного раньше нас с Мишкой и уже худо-бедно закрепился здесь. Он оказался совершенно ненормальным холериком, помешанным на деньгах. Но почти все заработанное он тратил на выпивку. Поэтому был вечно пьяным и злым. Хотя какие-то финансы у него все же имелись, и это давало ему возможность снимать квартиру в полчасе ходьбы от станции Перово на улице Кусковской. Расползающаяся по швам панельная семиэтажка не удовлетворяла амбициям городских властей и нуждам жильцов. Где-то в Новогиреево построили двенадцатиэтажку с квартирами улучшенной планировки. Мучеников малосемеек, под старость лет дождавшихся своего счастья, переселили туда, а семиэтажку решили снести, чтобы на ее месте построить более современное жилье. Но снос затянулся, тут еще подходила осень, бывшие мученики пораскинули умом и стали сдавать в аренду пустующие квартиры на Кусковской. По мизерной цене: 150 долларов с месячной оплатой. А за нашу квартиру некий Владимир Владимирович и вовсе брал 100 долларов, вернее три тысячи рублей. Он был дальним родственником Лехи и хотел поддержать парня. С сентября мы стали жить втроем, оплачивая по тысяче каждый.

Квартира оказалось убогой, но иного я и не ждал. Небольшая комнатка с непонятного цвета отсыревшими обоями, крохотная

кухонька и санузел. Окно в комнате было плотно завешено выцветшим шерстяным пледом, из-за постоянных сумерек казалось, что мы живем в подzemелье, а не на седьмом этаже. Никакой мебели не было. И спали, и ели мы на полу. Но мы постарались кое-как украсить наше убогое обиталище. Мишка повесил на стену иконы: Богородицу с младенцем на руках, Георгия Победоносца и Николая Чудотворца. Я ни разу не видел его молящимся, но однажды утром, когда все еще лежали в постели, заметил, как он всматривается в образа. Для него они что-то значили. Мне же эти церковные атрибуты были безразличны. Единственное, на что было приятно смотреть, это картина, которую Леха нарисовал гуашью прямо на противоположной стене. Огромный глаз. Контур непроницаемо черный, траурный. А вместо зрачка — ядерный гриб. Темно-серое месиво с красными прожилками. Но самая жуть в ресницах. Концами они прикреплялись к плоскости за пределами глаза и больше походили на стальные канаты. Создавалось впечатление, что глаз все время силится закрыться или хотя бы моргнуть, а эти стальные ресницы не позволяют ему. От сырости краски немного потускнели, обесцветились, точно подернулись сединой, и картина стала еще более жуткой. Она называлась «Свобода видеть». Я начал было расспрашивать Леху, но он раздраженно отмахнулся, сказал только что занимался когда-то искусством, но это давно в прошлом, что теперь только декорации малюет. Через несколько месяцев, когда я был дома один, я решил порыться в его вещах, и наткнулся на два десятка эскизов формата А4, заботливо уложенных в пластиковую папку с файлами — каждый эскиз в отдельный файл. Там были в основном эсхатологические сюжеты. Христос, распятый на небоскребах. Серый металлический глобус, сплошь покрытый красно-коричневыми струпами. Наброски были сделаны наспех простым карандашом или цветными гелиевыми ручками, но воздействовали сильно, страшно. Понятно, что Леха писал все это не с натуры, а из головы. Что же тогда творилось в его голове? Он никому этого не показывал.

Две соседние квартиры Владимир Владимирович сдавал «червям», как называл их Леха, — беженцам с Кавказа. У трех квартир была общая металлическая входная дверь. Запиралась только она. Нашу хату отделяла тоненькая дверка из фанеры. Поэтому мы были в курсе всей жизни, что происходила у соседей, а они были в курсе

нашей. Их там жило человек двенадцать всех возрастов. Самый маленький был еще грудной младенец, а самый старший — толстый мужик, лет под семьдесят. Он у них был вроде цыганского барона — командовал всеми. На жизнь они зарабатывали торговлей фруктами и овощами, мужчины с утра до вечера пропадали на ближайшем рынке, дома было тихо; зато к ночи начинался шалман — соседи пили, веселились, ругались. К ним приходили гости, причем самого разнообразного вида: на «Audi» подъезжали ожиревшие кавказцы с бычьими глазами, золотыми широкими цепями на шее и печатками на пальцах, приходили и простые торговцы с того же рынка. Но по большому счету нам на них было наплевать, им на нас тоже, поэтому все наше соседство ограничивалось кивком при встрече. Подобными жильцами был заселен почти весь дом.

Субботу мы назначили банным днем. Электроплита была очень старая, конфорки грелись еле-еле. Часа четыре кипятили пятнадцать чайников, выливали их в ванну, и мылись в этой воде по очереди. Это была крохотная «сидячая» ванна с облупившейся на дне эмалью. От нас воняло ржавчиной и застарелой грязью, которая по всему телу скатывалась мелкими серыми комочками. Постепенно я научился этого не замечать.

Нас было трое отморозков, приехавших сюда с надеждой изменить жизнь. Почему каждый из нас решил, что сделать это можно только в Москве, я до сих пор не могу взять в толк. Просто все дороги ведут в Рим. Просто у каждого из нас не было денег, своего дома и смысла жизни. Мы понадеялись, что, переменив среду обитания, пространство, изменим себя. Примерно через полгода каждый понял эту ошибку: жизнь не изменишь. Пришло осознание невозможности чего бы то ни было — сначала тягостное, но потом блаженное. Не было перспектив, не было надежд. Не было попятного пути; в нас жила тупая уверенность, что рельсы не имеют обратного направления. А двигаться куда-либо дальше казалось и вовсе бессмысленным, ведь если здесь то же самое, то значит, везде одно и то же. Мы были как кочевники, уставшие от перегонов, но и к сельскому хозяйству не приспособленные. Мы стали просто жить, не думая о завтрашнем дне. В этом было какое-то варварское удовольствие: мы почти наслаждались тем, что ничего не привязывает нас к этой земле. Это давало возможность не думать ни о чем, кроме кастрюли

макарон или гречки на ужин. И это тоже было хорошо, потому что любая отвлеченная мысль вгоняла в тоску. А тоска как зараза: захандрил один, и вот через пять минут уже все трое сидят по углам, злые, ощетилившиеся.

Пару раз мы избивали друг друга, а потом заботливо осматривали и мазали раствором йода кровоподтеки, нанесенные своими же кулаками и пятками. Драки помогали. Но ненадолго. Проходила неделя, синяки подживали, и мы снова смотрели волками друг на друга и на весь белый свет. И откуда только силы брались на эту постоянную озлобленность.

Питались мы очень скудно. Парни в счет зарплаты обедали в театре, а мне приходилось совсем туго. Макароны или крупа, хлеб и водка — стандартный ужин. Также мы много курили и никогда не чистили зубы. Я научился пить водку, не закусывая, вернее закусывая «Примой». Это новое умение сильно помогало выживать.

Правда, первые недели две мы жили довольно интересно. Пили за знакомство, рассказывали всякие истории из жизни, травили анекдоты. Мишка неплохо играл на гитаре, и, бывало, мы до полночи орали песни 80-х годов. Потом я написал для него пяток наполненных отчаяньем и агрессией текстов, он подобрал музыку. Появилась мечта организовать свою неопанк-группу, даже название придумали — «Треть». Сначала хотели назвать «Троица», потому что нас было трое, но потом решили, что это слово слишком церковное, а «треть» нет, и смысл его как бы обратный. Мы отдавали себе отчет, что выживаем и что жизни нам осталось едва на треть. Леха уже принялся было строить планы, как мы найдем делового продюсера, «раскрутимся» и будем получать «недетские», как он выражался, гонорары. Но вскоре — каждый сам по себе — мы поняли, что ничего сделать не сможем. Мишка принялся штудировать свою классику, а петь перестал. Да и никому не хотелось уже петь. Не то чтобы мы дружно отвергли идею с группой, она сама отошла в прошлое, став каким-то негласным табу.

Потом пришла промозглая осень. А вместе с ней постоянная тревожность. Мы стали нервничать, начались депрессняки. Больше

всех нервничал я, у меня не было даже минимальных средств к существованию. Пацаны каждый день, кроме понедельника, уходили в театр к девяти, если были утренние репетиции, или часам к двум, если был только вечерний спектакль, возвращались к полуночи. А я оставался один в четырех стенах. Леха уверял, что может замолвить за меня словечко администратору и устроить меня на работу, потому что монтировщики нужны всегда. Но я наотрез отказался. Театральной жизни мне в юности хватило по горло. Кроме того, я не умею и не хочу работать. И дело тут не в амбициях, просто организм не приспособлен к мышечным усилиям. И хотя уже более трех лет я сам себя обеспечиваю, работая руками, я так и не научился получать радость и удовлетворение от физического труда.

Ты знаешь, ведь до отъезда я три года вкалывал на заводе по обработке мрамора. Все думали, что я уехал, сбежал из города, а я только переселился на его окраину. От завода до барака, служившего заводским общежитием, метров пятьсот, магазин по пути, а больше я никуда и не ходил.

Это предприятие пришлось мне по душе. Из бесформенной породы мы делали гладкие красивые плитки. Но сама работа была невыносимо нудной. Чтобы не помереть от тоски я заставил себя полюбить мрамор. Камень действительно был удивительным. Мне нравился его холод, его гладкость, непредсказуемость рисунка, мягкость, податливость. Я получал удовольствие, когда проводил кончиками пальцев по отшлифованной плоскости, когда смотрел на воду, мутную от мраморной пыли. Вода в цеху лилась постоянно — смывала пыль. Именно это соединение воды и камня больше всего меня завораживало. Сначала меня определили учеником мастера в цех продольной распиловки, где кубы мрамора пилились на доски. Занятие наискучнейшее, но требующее постоянного внимания и аккуратности. Продольщиком я проработал чуть больше двух месяцев, два месяца начальство не могло понять, что как работа я никуда не гожусь. Из-под моих пил выходил такой процент некондиции, то есть бракованных, кривых или слишком толстых досок, что шлифовщики, к которым шел мой полуфабрикат, устали материться и пожаловались технологу. За «задумчивость среди общего темпа труда» меня перевели в маленький отряд рабочих, которых все заводские называли меж собой могильщиками. За-

нятие у нас было простое: мы перекуривали, а между перекурами кернили надписи на могильных плитах, на памятниках. Сделаешь пару букв, отдохнешь, потом еще пару, глядишь уже и домой можно собираться. Такое дело пришлось как раз по мне: был тактильный контакт с поверхностью камня, на котором я оставлял надписи о границах жизни, надписи, предназначенные существовать в веках. Платили могильщикам, конечно, гроши, но попадалась халтура. Закажет какой-нибудь чужак написать на плитке философскую или любовную фразочку или просто свое имя, или название своей фирмы, отвалит сумму в ползарплаты. Беда, что чужаков не так уж много бродит по этой земле, поэтому халтура была редкостью. Случались и авралы — обычно весной, когда люди ставят памятники к родительскому дню. Тогда уж было не до перекуров, приходилось выдавать по три-четыре штуки в день. Так я проработал почти три года. Зарплату все не повышали, предприятие начало разваливаться. Появились бригады, которые за пару дней могли отделать любой фасад или помещение пластиком, который не менее красив и прочен, чем мрамор, и намного дешевле; и мраморная плитка вышла из моды. Для нас, могильщиков, тоже настали несладкие времена. Мелкие частные фирмы ритуальных услуг обеспечивали спрос памятниками, у них это получалось быстрее и, опять же, дешевле. Так я остался без работы. Правда, руководство предприятия поступило по-человечески — выдали расчет и отпускные. Этих денег мне как раз хватило на билет до Москвы и на первое время.

Ольга Юрьевна работала редактором в издательстве «Олма-Пресс», и мне давала корректуру. Платили гроши — от семидесяти до ста пятидесяти рублей за лист; мне приходилось сутками читать всякую хрень, которую выпускало это издательство. К тому же зарплату они задерживали на полтора месяца. Я еле-еле свел концы с концами, чтобы скопить сумму на ноябрь. Питался я с самого начала за чужой счет. Именно это угнетало Леху. Он дал мне кличку «Корректор»; сколько презрения вкладывал он в это нейтральное слово! Всем своим поведением он показывал, что терпит мое иждивение. Я про себя называл его бухгалтером. Он тщательно записывал в специальный блокнотик все свои траты. Курил «Приму» без фильтра, хотя мог курить хотя бы «Союз — Аполлон». Вычислил свой прожиточный минимум — шесть с половиной долларов в не-

делю, и очень психовал, если приходилось от него отступать. А отступал почти всегда. Он никогда не жалел на водку, а выпив, становился беззаботным, болтал без умолку, давал еще денег, и я бежал за новой бутылкой. Пьяный Мишка наоборот делался загруженным и молчаливым. Сидел на тюфяке, скрестив по-турецки ноги, согнувшись в три погибели, и, когда Леха делал паузу, повторял одну и ту же фразу, вычитанную в какой-то книге: «это сегодняшний день, это моя неповторимая жизнь», «это сегодняшний день, это моя неповторимая жизнь...» На меня алкоголь действовал по-разному. Если Леха давал мне открыть рот, я рассказывал им медицинские байки или что-нибудь об античном театре. Но театр их мало интересовал, лицедейства им хватало и на работе. В начале октября я купил на книжном развале возле метро, где продавали подержанные книги, за двадцать пять рублей «Голод» и прочитал им вслух. Пару ночей мы говорили только о нем. Я объяснял им, что к чему. Мне было почти не плохо, почти не скучно в те ночи. Но в основном мы, конечно, говорили о себе, о детстве, например (преждевременная старческая хандра была у нас в моде). Вообще-то я уже дошел до той жизненной черты, когда перестают открывать кому-либо душу, но душа (какое, блин, мерзкое слово) ныла... в общем, однажды меня прорвало...

Кажется, именно с той ночи мы перестали рассказывать о себе. Появилась новая тема: мы строили планы на будущее... Отдавая себе отчет в том, что ничего из нами придуманного не произойдет. Это были очень радужные планы. Сначала мы мечтали раскрутить нашу группу. Потом Леха загорелся идеей вступить в мифическую конфедерацию театров и получать от пятидесяти долларов за спектакль. Мишка все талдычил о консерватории. Так прошло еще месяца полтора. Потом говорить стало совсем не о чем, мы просто напивались за тридцать минут и расходились по своим углам. Мишка с гитарой и нотником Агафошина занимал кухню, садился там на пол, перебирал струны, кажется, разучивал что-то из Сора или Джулиани, точно не знаю. Леха ложился на тюфяк и листал порножурналы, которые пачками таскал с работы. Сначала лежал молча, потом принимался комментировать фотографии девушек в самых смачных выражениях. Я запирался в ванной, опускал крышку унитаза, садился и читал корректуру. Пахло человеческими испражнениями, но я привык. Стена между ванной и туалетом капитальная, поэто-

му Мишкину музыку почти не было слышно, зато я хорошо слышал Лехины возгласы, доносящиеся из-за тоненькой фанерной двери. Скоро Леха засыпал. Он вообще любил поспать, в сентябре, когда еще не было так холодно, он спал до обеда, мы расталкивали его, когда он уже рисковал опоздать на работу. Всегда его пробуждение сопровождалось матюгами и проклятиями в наш адрес. Мишка не мог играть долго — стыли пальцы. Он грел их над «козлом» или над конфоркой (она была постоянно включена), но это помогало ненадолго. В конце концов, выматерившись, он тоже ложился. Кажется, ничего до конца он не выучил, не отточил. Я сидел, как правило, часов до трех-четырёх, пока не начинал трезветь. В ванной было более-менее тепло, а может быть, я не мерз за работой; чтобы расставить запятые — тоже надо шевелить мозгами.

Подошел Новый год. Я ненавижу праздники, которые праздники только потому, что отмечены в календаре красным цветом. Такие дни созданы для людей. Уработанных людей, дорожащих временем, которое можно провести не на работе. Или дорожащих законной, государством отведенной возможностью напиться. Поводом. Мы напивались всегда без особого повода, просто так, потому что надо выпить. И я предложил провести новогоднюю ночь как самую обыкновенную. Напиться и разойтись. В знак протеста. Но Леха и Мишка не поддержали. Особенно возражал Мишка. Он вообще чуть не обожествлял этот праздник — говорил: память детства. Даже ветку пихты притащил, чудила. В итоге, как последние провинциалы, мы поперлись на Красную площадь слушать бой Курантов. И тут ни с того ни с сего мне улыбнулась фортуна. Мы поднимались из станции Охотный ряд. Я шел первым и принципиально смотрел под ноги, чтобы не замечать примет праздника. И тут на мраморных ступеньках лестницы я увидел сотовый телефон. Недолго думая, видимо, повинувшись древнему инстинкту собирательства, я схватил его и положил в карман. Люди шли как ни в чем не бывало. Возле Воскресенских ворот я притормозил, дождался парней, показал находку. У Лехи сверкнули глаза, когда он увидел крошечный аппарат. От восторга он начал материться. Схватил телефон, снял заднюю крышку и выбросил сим-карту. Я подумал, что можно было позвонить отцу, но промолчал.

— Если не ошибаюсь, администратор сети может по ней запеленговать, — объяснил Леха, заметив мое недоумение, и с видом знатока

продолжил осмотр. — LG-600! Раскладушечка с двумя экранами — мудакам везет. Не меньше четырех штук на Савеловском рынке срубишь. Ну, типа с Новым годом тебя, Корректор!

Труба была совершенно не нужна мне, но у Лехи хватило гордости ее не выманивать. Не помню, что там было на площади в эту ночь, единственное, что я чувствовал — эту находку. Мне хотелось увидеть в ней знак судьбы, но ничего конкретного не приходило в голову. За всю свою жизнь я нашел только заклеенную скотчем десятку, которую кто-то скорее всего выбросил, потому что ее не принимали ни в одном магазине, — а тут такое! Я никак не мог понять, что это всего лишь обыкновенная тупая случайность.

Январь прошел в постоянном холоде и беготне. Чтобы не сойти с ума, мы по-прежнему пили почти каждый вечер. По-прежнему расходились по своим углам. По-прежнему разговаривали только о быте. Но один вечер выдался необычным. Леха привел какую-то невзрачную девочку-актрису, студентку театрального вуза, занятую в массовке. Не могу представить, чего он ей нашпел, но по глазам было видно, что она чувствует себя провинциалкой, попавшей в столичную богему. Мы немного поболтали, а потом Леха дал понять, что нам с Мишкой придется ночевать на улице. Сразу за домом был парк культуры и отдыха районного масштаба. Безобразные голые осины торчали вокруг пруда и недостроенной церковки над ним. Всю ночь мы просидели в ней, просто так слоняться по улицам было небезопасно — мы боялись попасть в руки к ментам или бандитам. Под утро наступило дикое ооченение. Я не чувствовал промерзших конечностей, но именно тогда я впервые почувствовал тягость дыхания. Дышать было нестерпимо больно, не то что бы я простудил горло, а как-то всем нутром больно. Хотелось упасть куда-нибудь в грудку строительного хлама и подохнуть. Мишке пришлось еще тяжелее. Сначала у него начался настоящий бред. Он смотрел в одну точку и говорил без интонаций, обращаясь непонятно к кому:

— Москва уже давно должна уйти под землю, провалиться. Там же все изрыто под ней. Еще с царских времен — тайники, катакомбы, в прошлом веке — бомбоубежища, метро. Все диггеры это знают. А самое главное... это проклятый город. Ты видишь, что здесь с людьми происходит! Ее давно кто-то проклял. Она держится толь-

ко церквями, которых в ней на каждом углу натыкано. В них день и ночь молятся, чтобы она стояла. Вот еще одну строят...

— Да и пусть бы провалилась, — сказал я.

Он согласно кивнул. Потом ему стало совсем худо — все время мычал и, кажется, плакал. Сам я не плакал с тех самых пор, то есть, выходит, около четырех лет, и мне было дико смотреть на его слезы, медленно стекающие по красным от холода щекам. Волосы, спадавшие на лицо, тоже намokли и обледенели. Должно быть, я посоветовал ему вспомнить о чем-нибудь хорошем. Никогда не забуду улыбку, которой он мне ответил. Улыбку человека, в любую минуту готового умереть. Часов в восемь утра мы вернулись в квартиру. Кое-как заползли на седьмой этаж. Актриски уже не было. Леха лежал полуголый, довольно поглаживая волосатый живот.

— Это была моя восемнадцатая, — сказал он самодовольно.

Столько сконцентрированной ненависти не было во мне никогда. Если бы не жуткий озноб, который колотил нас до вечера, мы бы прибили Леху.

В середине февраля случилась оттепель, и меня потянуло на улицу. Нечего было делать одному в четырех стенах. Леха с Мишкой с обеда до поздней ночи пропадали в театре — полным ходом шли репетиции спектаклей весенне-летнего сезона. Послonyaвшись с полчаса по комнате, я не выдерживал и топал к метро. Денег я тогда проездил пропасть. Мне нравилось находиться в подземке. Там много камня: стены, пол, потолок — все заключено в камень. Там нет зелени, нет птиц, нет ничего естественного, природного. Живо. Только потоки людей с лицами, не имеющими выражения. Несколько часов я просто сидел на скамейке, уставившись перед собой пустым взглядом, или катался на поездах, а когда в голове начинало гудеть от их железного грохота, выходил на первой попавшейся станции и до позднего вечера шатался по городу. Сколько достопримечательностей Москвы промелькнули перед моими глазами за эти десять дней. Ничего хорошего я, конечно, не увидел. Особенно неприятно поразила меня громадина университета на Воробьевых горах. Сколько людей, для которых неизвестно чему посвященное знание стало предметом жизни и способом выбивать свой кусок хлеба, день изо дня проводили в этом муравейнике! И что это были за люди? Я не знал никого из них, но был уверен, что ни с одним не

смогу найти общий язык. В другой раз я забрел на Ваганьковское мемориальное кладбище. Возле входа красовались несколько рекламных щитов с предложениями заблаговременно позаботиться о своем захоронении — застолбить местечко в стене колумбария. Люди этого города и этого мира борются не только за место в жизни. В голых сучьях высоких тонких кленов гудел ветер, как положено ветру на кладбищах. Кругом была теснота, могилы громоздились одна на другой. Если для мертвых на этой земле не хватает места, что тогда говорить о живых, подумал я. Народу в субботний день было много. Люди прогуливались между могил с ленивостью посетителей музея или картинной галереи, глазели на затейливых ангелочков, украшающих памятники. Просили подавание нищие и бомжи. Я прошел по Суриковской аллее и набрел на братскую могилу. Перед памятником павшим «за свободу и независимость нашей Родины» стоял высокий тучный мужчина с одутловатым лицом. Рядом бегал бойкий мальчонка лет семи. Было видно, что мужчине тяжело кланяться в пояс, но он трижды поклонился, крестясь. То же сделал и мальчик, и они пошли вместе к выходу. «Русь святая, храни веру православную», вспомнил я расхожий слоган всяких церковных изданий и искренне засмеялся. Вернулся я с кладбища совсем разбитый, и на следующий день не высовывался из дома. «Земля для мертвых», вертелось у меня в голове. Нужно лечь и умереть.

Но больше всего во время этих вылазок в город меня раздражали памятники, на которые невозможно не наткнуться, потому что столица просто облеплена ими. Каменная память о никому не нужном прошлом. Если бы я был скульптором, я поставил бы в самом людном месте памятник будущему — цинковый гроб с серийным номером. Число на этом номере должно было бы меняться в зависимости от того, сколько лет минуло со смерти Христовой. И еще я заметил, что никто из прохожих никогда не смотрел по сторонам. Всем были до фени все эти памятники. Люди посвящали себя сегодняшнему дню. Каждый хотел съесть на ужин чего-нибудь повкуснее, и целый день занимался добытием своего лакомого куска. Я ходил и понимал всем сердцем, что пропади памятник Гоголю, сгорбленный, полный страдания за грехи России и, видимо, поэтому стыдливо запрятанный во двор дома на Никитском, — ничего бы не изменилось. Через несколько дней мне стало невыносимо тоскливо и противно от этого нелепого присутствия мифи-

ческого прошлого в монструозном настоящем, и я перестал гулять по центру. Уезжал на самые дальние станции, где кроме железобетонных высоток и дворов, большей частью лишенных всякой растительности, ничего не было. Урбанистический, без претензии на благоустройство пейзаж окраин по крайней мере не засорял глаз.

Я шел мимо длинного забора, отгораживающего стройплощадку, и услышал детский плач. Даже не плач, а скулящее такое кряхтение. Нужно было просто пройти мимо, как делали все (было под вечер, и прохожих хватало), но в груди что-то непривычно екнуло, я протиснулся сквозь дыру в металлической сетке и оказался на краю котлована. Часть его уже была выложена здоровенными бетонными параллелепипедами, а часть представляла собой обыкновенную яму глубиной в несколько метров. Я заглянул вниз. Там, на самом дне этой ямы лежал грязно-розового цвета сверток. Я спустился по заледеневшему почти отвесному склону, отогнул край одеяла, которое сослепу принял за сверток, и увидел младенца. Он был еще розовый и довольно теплый, видно совсем недавно добрые люди положили его сюда. По ангельскому выражению крошечного лица я понял, что это девочка. Насилу выбравшись из котлована, я огляделся. Никого не было вокруг. Я не представлял, что с ней делать. От растерянности я стал метаться по улице, подбегал к прохожим, но они шарахались, а чаще просто делали безразличное лицо и шли своей дорогой. Мы не местные, понял я. Мы не местные. Все-таки какая-то женщина выслушала меня и подсказала обратиться в отделение милиции. Я забежал в метро Выхино. Положил затихшую Кристину (так я назвал ее, пока она отогревалась под моей курткой) на стол дежурного. Милиционер посмотрел на меня как на сумасшедшего, двумя пальцами брезгливо ткнул девочку — живая ли. Она была живая и начала орать во всю глотку. Дежурный достал лист для протокола, стал спрашивать мои документы. В общем, через минуту до меня дошло, что нужно уносить ноги, я выбежал из отделения милиции, заскочил в отъезжавший поезд. Дверью прижало рукав куртки, но я дернул что было сил, двери сомкнулись, поезд поехал.

Вернулся домой еле дыша и напился в этот вечер так, что просто вырубился без памяти. Мне очень хотелось забыть отвратительный сегодняшний день. После этого случая я перестал выбираться на прогулки.

Наступил март, совсем потеплело. На свой день рождения я впервые открыл на кухне форточку и чуть не задохнулся от свежего воздуха в квартире — настолько здесь все было прокурено, пропылено. Я протер стекла и вымыл пол, перетряс на лестничной площадке тюфяки. Парням о дне рождения я ничего не сказал, опасаясь услышать поздравления. Я знал, что у Лехи днюха где-то в апреле, а у Мишки в начале июня. Лехе должно было стукнуть, кажется, 27, а Мишке 26. Я был самым младшим в этой компании — мне исполнилось 25, так что мои постоянные обязанности повара и уборщика были вполне обоснованы. Уклад нашей жизни немного напоминал тюремный адат. В этот день 25 лет показались мне чертовски большим сроком. 25 для убежденного жителя — это время окончательного определения. Как правило, в 25 убежденный житель уже приобрел специальность, обзавелся семьей, может быть, даже детьми. Если повезло, устроился на хорошо оплачиваемую работу. Имеет планы на жилплощадь, машину, дачу. Имеет перспективы. Впереди у него лет сорок постепенного стабильного оскотинивания и омертвления. Я в свои 25 не имею ничего, главное, никаких перспектив. Я предал единственную в своей жизни клятву. Бросил на четвертом курсе университет. Принудительно забыл свою специальность, которой когда-то наивным мальчиком собирался посвятить жизнь. После предательства я разучился гневаться и страдать. Мать выгнала меня из дома, теперь у меня дома нет. Нет денег, друзей, богатых родственников, веры, хобби. У меня нет даже убеждений, которыми можно было бы оправдывать эту свою расхристанность. Если я загнусь в какой-нибудь подворотне, некому даже будет опознавать и хоронить. Я никто. Если не повезет прожить вдвое больше, дотянуть до 50-ти, вряд ли что-то изменится. Я скорее всего превращусь в обычного бомжа, какие вечно лежат в подземных переходах в луже собственной мочи. Давным-давно, прыщавым подростком, я мечтал уйти в Тибет, сделаться тибетским монахом, и сейчас все чаще думаю об этом. Но туда надо хотя бы добраться. И вообще это только слова, глупые мечты, как у Лехи, только он мечтает о нормальных вещах. Я с легкостью расстался бы со своей никчемной жизнью, если бы было ради чего. Если бы началась война, я в первый день записался бы добровольцем. Но я живу, и обязан принимать ее, свою жизнь, такой как она есть. Это даже не жизнь. Самое верное слово тут — участь. Каторжане Достоевского хотели «переменить участь»

свою на любую другую. А я не хочу. Когда я ехал в этот город, я еще на что-то надеялся, но выяснилось, что надеяться не на что. Смотрю ли я на свою судьбу, на это маргинальное существование скорбным взглядом? Ничуть, просто к 25-ти я дошел до той черты, когда все все равно, потому что все просто так. Это сегодняшний день, это моя неповторимая жизнь, как говорит Мишка.

2. ПРОЧЬ ОТСЮДА!

В середине марта в понедельник в первой половине дня появились муниципальные рабочие. Ходили с рулеткой вокруг нашего барака, вымеряли что-то. Мы заволновались, но Леха сказал: «Фигня, этот дом еще нас переживет, никогда его не снесут». Он ошибся. Вслед за строителями в тот же день в десятом часу вечера появились менты. У них был ключ от общей металлической двери, вошли они как к себе домой. Их было двое: старший, мужчина средних лет с хмурым и усталым лицом, а с ним парень нашего возраста. Он глупо хлопал глазами, осматривая наше убогое существование. Не здороваясь, велели показать документы. Естественно, ни у кого из нас не было московской регистрации. Мужчина с усталым лицом сообщил, что дом предназначен под снос, чтобы через трое суток нас тут не было, в противном случае наше проживание будет расцениваться как захват муниципального имущества. Леха сказал, что мы платим за аренду Владимиру Владимировичу.

— Какому Владимиру Владимировичу? — спросил мент.

— Он в вашем участке работает.

— Не знаю такого, — ответил мент и вышел.

Следом, не говоря ни слова, ушел и Леха. Мы с Мишкой сидели совсем убитые. Дело принимало неприятно серьезный оборот, конфликтовать с властями нисколько не входило в наши намерения. Из-за двери раздавались возбужденные голоса.

— Чего вы от меня хотите? — истерично спрашивал мент.

— Я просто хочу, чтобы моей семье дали жить, — барон отвечал уверенным басом. — Все было — дом, огород, бараны. Теперь ничего нет. Родной дом разбомбили, выгнали нас. Сюда приехали, и тут жизни нет. Вот говорят, Россия большая, всем места хватит. А для нас где место?

— Я старая женщина. Я прошу ради детей... — молитвенно причитала его жена.

Они долго препирались, возмущались, просили, плакали.

— Я вас предупредил, — закончил мент и ушел.

Леха вернулся после полуночи. Невероятно пьяный. Сказал, что Владимир Владимирович все уладит, что менты, которые приходили, — его подчиненные. «Короче, без проблем. Можно не трепыхаться» — добавил он, зарываясь носом в тюфяк.

— А что, правда, хозяин квартиры — мент? — спросил Мишка.

— Правда, правда..., — промычал он, уже отрубаясь.

Мы с Мишкой успокоились и легли спать.

На третий день менты пришли снова. Их было много, на каждый подъезд человек по десять. Зубились во все квартиры. Если не отпирали, они выбивали дверь. Приказывали «освободить муниципальное имущество». На сборы двадцать минут. По всему подъезду раздавались крики, ругань; кого-то били.

Когда вломились к нам, Леха сказал:

— Хана, мужики! Я пойду к Владимиру Владимировичу, может, он разберется. А вы пока собирайтесь. Только помедленней. Сильно не торопитесь, может, зря еще. Надо время протянуть.

Мы начали укладывать скарб. Вещей у нас было немного: Мишкина гитара и иконы, дюжина моих книжек, одежда, Лехина посуда. Через полчаса мы стояли посреди разбомбленной комнаты, готовые идти. Под ногами хрустел просыпанный сахар, ворохом валялись Лехины порножурналы. На стене, там где висели иконы, остались три черных от копоти квадрата. Мишка был бледным и все время твердил: «И это сегодняшний день, и это моя неповторимая жизнь». «Замолкни», — сказал я ему, но он ничего не слышал и продолжал талдычить свое.

— Готовы? — заглянул все тот же знакомый мент. — На выход!

Мы взяли сумки и пошли. В подъезде поперек прохода лежала жена барона и тихонько выла, вокруг нее копошились трое плачущих полуголых детей. Барон о чем-то вполголоса разговаривал с ментами.

— Земляк! — окликнул он меня. — А этот... Алексей... ваш главный — где?

— Пошел к Владимиру Владимировичу разговаривать, — отвечал я.

— Я же говорю, — барон обернулся к ментам. — Мне он тоже сказал, что Владимир Владимирович пока жить разрешил. Я на днях только деньги за аренду отдал.

Менты молчали, смотрели в сторону.

Мы вышли на улицу. Мигалка на милицейской машине разрывала вечернюю темноту острыми красными вспышками. Возле каждого подъезда гудели исполошенные люди. Заливался плачем младенец. Теснились отъезжающие и подъезжающие машины, некоторые жильцы уже смотали удочки. Мы стали ждать Леху.

— Что теперь делать будешь? — спросил Мишка.

— Похоже, пора мне убираться отсюда.

Он понял, что я имею в виду сам город.

— А мне даже некуда уехать...

— Может, попробуешь вернуться в Кокчетав?

Он снова улыбнулся, как человек, который в любую минуту готов умереть.

Быстрым шагом подошел Леха. В зубах торчала сигарета с фильтром.

— Владимир Владимирович здесь. Ничего сделать не может. Муниципалитет приказал. Они только исполняют.

— Ты насчет денег не спрашивал? — поинтересовался я. — Мы же месяц не прожили.

— Вернул за полмесяца.

— Что делать-то будем? Где ночевать?

— Владимир Владимирович сказал, можно договориться с тем ментом, чтоб переночевать пустили. Его Борис зовут. — Леха оглянулся. — Надо его найти. Но если не прокатит, в Пушку пойдем. Только тебе, Корректор, придется через забор лезть или сторожу пол-литра ставить. На свои деньги.

Я согласно покивал, хотя перспектива ночевать в театре не очень меня грела. Мишка стоял понурый, не реагировал ни на что.

— Надо оставаться здесь. Последнюю ночь. Завтра я уеду на родину.

— Струхнул, Корректор? — презрительно произнес Леха. — А вот я не сдамся. Хоть в Пушке буду жить, а отсюда не уеду.

— Твое дело.

Мы нашли Бориса. Он сказал устало:

— Чтобы завтра в десять утра вас тут не было.

— А эти? — Леха кивнул на беженцев, которые грузили в старенький жигуленок свой скарб.

— Червей мы уберем. Пойдите пока здесь.

— О'кей, — сказал Леха, и мы стали ждать.

Заморосил дождь, первый в этом году. Мелкие капли прожигали еще не растаявший кое-где грязный снег. В воздухе пахло простудой. Я курил и чувствовал, как в горле собирается комок слизи. Отъезжающие машины развезли грязь, весь двор был изрезан черными колеями от их колес. Этот пейзаж напомнил мне фронт, каким его показывали в советских фильмах о Второй мировой войне. Люди уезжали со своими скудными пожитками. Несколько семей, которым, как нам, некуда было идти, так и стояли под дождем возле своих подъездов, переговаривались с ментами. Тем уже было все равно, они сонно отнекивались, но потом все-таки разрешали переночевать. Я смотрел на пустые горящие окна без штор. Семизэтажный дом с пустыми окнами и одинокими лампочками в них. Несколько сотен человек целую зиму день изо дня торопились вернуться сюда с работы. Их устраивало отсутствие удобств, нелегальность положения. Как могли, они стремились выжить. И вот теперь никто из них даже не подумал бороться за свое незаконное существование. Странно, только сейчас я увидел, как несуразно, куче выглядит это строение. Ведь обычно бывает девять этажей или пять, а тут семь. Ни рыба ни мясо. Я понял, что этот дом в самом деле необходимо ампутировать, как пораженную гангреной конечность.

Леха отправился за водкой. Мы с Мишкой вернулись в квартиру. Достали из сумки чайник, поставили греться. Ужасно хотелось есть, за последние два часа я выкурил полпачки «Примы».

— Надо забрать у Лехи деньги за аренду, — напомнил я. — Может, действительно перекантуетесь в театре, потом найдете с ним что-нибудь. Всегда же есть выход.

— Всегда, — согласился Мишка.

Скоро вернулся Леха.

— Черви не заглядывали?

— Нет.

Он был подвыпивший и от этого очень веселый. Принес початую бутылку 0,75, килограмм пельменей, кусок колбасы. Кажется, так роскошно мы не ели ни разу. Сказал:

— Гуляем, перцы. Танец на палубе Титаника.

Стал возиться на кухне, напевая какую-то попсовую мелодию. Вкусно запахло пельменями, и это влило в нас немного живой энергии. Даже Мишка очухался. Мы скучились на нашей крошечной кухне и поочередно открывали крышку — помешать, чтоб не прилипли. Конфорка еле теплилась, и пельмени превратились в однородную клейкую массу, но от голода мы смотрели на них как на деликатес. Съели по бутерброду с копченой колбасой. Впервые было совсем тепло. И это тоже поднимало настроение. Мы выпили понемногу, даже чокнувшись при этом.

— Живем, ребята! Живем! — повторял Леха и обнимал нас за плечи. — Ребята, мы прорвемся, прорвемся! Я точно знаю. Как бы не было хреново, прорвемся все равно! — Он бросился к окну в комнате, одним махом сорвал с него полог, уткнулся лбом в стекло, ощерился, обнажив острые редкие зубы. — Что, Москва, съела? Мы тебя еще сделаем! Сделаем мы тебя, Москва!

— Давайте жрать, — пригласил я.

Мы сели как всегда на пол. Еще выпили. Ели молча, с жадностью. Паленая водка и клейкое месиво разварившихся полусырых пельменей казались барским ужином.

— А что соседям этот твой Владимир Владимирович решил не возвращать деньги? — спросил вдруг Мишка.

— Понятия не имею, — Леха ответил как-то слишком сухо.

— А тебе он без разговоров отдал?

— Само собой.

— Как он хоть выглядит-то этот твой невидимый мент?

— Мужик как мужик...

Мне не понравился этот слишком напряженный диалог. Мишка с Лехой работали вместе, и знали друг друга лучше, чем я их обоих; возможно, у них были какие-то невыясненные денежные разногласия. Я сказал:

— Ты нам-то деньги отдай.

— У-у, конечно, — промывчал Леха и вытащил из заднего кармана джинсов пачку купюр, небрежно кинул их в нашу сторону.

— Семьсот пятьдесят рублей.

— Я не понял... Мы же поровну складывались...

Леха тоже понял не сразу, видимо, он был уверен, что должен отдать нам только это.

— Вот черт! — прорычал он и отвернулся, чтобы скрыть гримасу крайнего неудовольствия. — Все правильно, по пятьсот каждому. — Он вышел на кухню, отсчитал недостающую сумму, отдал.

Пролет с деньгами явно расстроил его, он молча дожевывал кусок колбасы.

— Мне бы только на билет, — продолжал я. — Доеду, там старые знакомые небось не дадут с голоду помереть. Слышь, Чича, я завтра хочу на Савеловский съездить, толкнуть там сотовый... не pomoжешь, я же не разбираюсь?

— Дело, — оживился Леха. — За сколько хочешь?

Так мы провели остаток ночи. Мишка играл «По течению» — грустную мелодию Ольшанского. Я слушал. А Леху несло и несло, он пил вдвое больше нас, курил LM, одну за другой. Снова, как в октябре ударился в мечты.

— Москва... — говорил он. — Это такой город... здесь тебе все возможности предоставлены. Делай, что хочешь! Да что возможности... просто ты идешь по улице, дышишь этим бензином, или едешь в метро и чувствуешь, что ты в Москве. В Москве-е! Правильно говорят, кто раз побывал, почувствовал это, тот отсюда уже не уезжает. Это как Клаудию Шиффер отыметь... После нее другие бабы резиновыми покажутся. Надо зацепиться, ребята, только здесь надо зацепиться...

Он был слишком пьян. А мне было как-то не по себе от его речей после всего происшедшего. Наверно, это потому, что мне никогда не нравилась Клаудия Шиффер. Я вытащил из сумки Гамсуна и ушел в ванную. Вскоре Леха замолк, Мишка тоже перестал играть. Вдруг я понял, как тихо в этом пустом доме. Видно, большинство его обитателей все же уехали. Нигде не текла вода, не скрипели кровати, не плакали дети, не было слышно ругани. Стояло полное безмолвие, как в космосе. Я посмотрел на часы. Маленькая черная точка на электронном циферблате вздрагивала от пришествия каждой новой секунды. Было шесть утра. Читать не хотелось, я опустил голову на книгу. Я вспомнил свой родной город, где прожил с женой четыре года, а потом еще три года один. Небольшой компактный городок в южной Сибири сейчас был еще, наверно, по-зимнему снежен. Климат там теплый, только в январе бывают туманы, и температура опускается до сорока. Там чистая река, и почти всегда чистое небо со стремительными облаками — там, в вышине постоянно дует хо-

лодный ветер. Потому что кругом степь, а за ней горы. А здесь за всю зиму я не видел ни одного ясного дня. И ни разу не видел, как всходит солнце. Кажется, на восходе оно всегда бывает золотисто-красным. Это очень плохо, если человек забывает восход. Дожив до 25-ти лет, я забыл, как оно выглядит, восходящее солнце, забыл, чем пахнет степной или горный ветер. Я ни разу не видел моря, не видел чаек, не летал на самолете. Я только читал Ричарда Баха и Экзюпери. Я люблю есть сало, но ни разу не забивал свинью. Ни разу не ударил в лицо человека, хотя ненавижу каждого, кто попадается мне на пути. Ни разу не стрелял из настоящего оружия, хотя в детстве прохлада и тяжесть ружья в тире будили во мне воина. Моя жизнь — это сплошной суррогат, фикция, симулякр. Если я сдохну, никто не станет приходить ко мне на могилу. Да и могилы никакой не будет, потому что уже почти год как я написал на последней странице паспорта завещание с просьбой кремировать тело, а пепел свезти на свалку. После смерти, если только что-нибудь будет после смерти, я стану камнем. Серым бесформенным камнем среди каменистой пустыни. Есть картина какого-то художника, фамилию которого я не помню. На ней изображен Христос, сидящий на камне. А вокруг только бесконечное пустое каменное пространство. А может, и нет никакой картины, и все это приснилось мне той зимой четыре года назад в одном из кошмаров...

Дверь открылась, заглянул Мишка.

— Ты чего тут?

Кажется, я забылся и стал думать вслух, со мной бывает такое, когда я один.

— Ты веришь в жизнь после смерти? — от растерянности задал я глупый вопрос.

— А что? — он насторожился.

— Кем бы ты хотел стать, когда умрешь?

— Я? Я стану мелодией. Очень-очень протяжной мелодией, которая рождается сама по себе где-то в верхних слоях атмосферы. Между космосом и Землей... — отвечал он просто, как ни в чем не бывало.

На секунду я позавидовал ему.

— Слушай, может баньку устроим, а? — попросил он слишком детским голосом. — Последний раз, а?

Я глянул на время, шел уже восьмой час.

— Не, Миш, не успеем. До десяти же надо смыться отсюда.

— Ну, ладно, — согласился он и прикрыл дверь.

Сначала было тихо, и, кажется, я задремал. Сквозь дрему я услышал треск открываемого окна, услышал, как шумно посыпалась на пол шпаклевка. Быстро через фанерную дверь дошел дух свежего утреннего воздуха. Запахло ночным дождем. От этого неестественного воздуха я окончательно очнулся. Вышел из ванной. Леха спал, с головой закутавшись курткой. Окно на кухне было открыто нараспаш. Я выглянул. Там внизу головой на железобетонной плите лежал Мишка. Я отчетливо увидел, как вокруг его головы расплывается красная лужа. А еще мне показалось, что глаза его открыты и в них отражается муть неба, жутко серьезным и возвышенным выглядывает его лицо.

— Мишка, Мишка, где твоя улыбка, — сказал я.

Зашевелился Леха.

— Вставай, Чича, тут Казанцев выпрыгнул! — крикнул я ему.

Спросонья он как всегда заматерился, но быстро сообразил, что к чему, подбежал к окну, посмотрел вниз.

— Надо уходить, — сказал он и стал обуваться.

Я тоже обулся, накинул куртку, взял сумки.

— Что с гитарой делать?

— Давай сюда.

Он взял гитару, а я Мишкину сумку. Потихоньку мы спустились вниз. Пошли к метро. Подморозило. Грязь от вчерашнего дождя застыла темными комьями. При каждом шаге под ногами хрустел этот земляной лед. Отчего-то тряслись поджилки, я боялся упасть. Ленивый свет тек с тусклого неба, все вокруг было в серо-черном. Изломанные ветки уставших от зимы деревьев, дома с потускневшей и облупившейся краской на стенах, корка заледеневшей грязи. Воздух был больной, от земли поднимался запах простуды, щекотал гортань; дыхание причиняло боль. Я оглянулся на дом, служивший прибежищем почти семь месяцев. На дом, с обратной стороны которого сейчас лежал мертвый Мишка. На дом, который все-таки пережил одного из нас, но который в скором времени будет срыт. Во всех окнах горел свет, и из них лилась жуткая тишина, точно в каждой квартире держали молчание.

Мы спустились на станцию Перово. Табло показывало тридцать секунд, поезд только что отошел. Сонные люди с пустыми глазами прохаживались вдоль края платформы.

— Ты не знаешь за сколько можно продать гитару? — спросил Леха.

— Нет. — Я помедлил. — Тебе не нужен мой телефон?

— А на Савеловский ехать передумал?

— Передумал.

— Сколько тебе нужно, чтобы добраться до дому?

— Две тысячи.

— Ну, пятьсот у тебя уже есть, — он достал из кармана солидную пачку стольников, отсчитал. — Вот, полторы штуки. Больше не дам.

Я взял деньги, отдал сотовый. Мишка полюбовался на него, включил. Экранчик послушно засветился голубым.

— Гляди-ка, столько лежал, а аккумулятор до сих пор живой!

— Живой, — повторил я.

Молча доехали до Марксистской, перешли на Кольцевую линию. Когда подъезжали к Комсомольской, я сказал:

— Ты в театр? Мне выходить здесь.

— Ну, пока, — бросил Леха.

— Будь здоров.

Я пожал его вялую равнодушную руку.

В кассе Ярославского вокзала мне продали билет на вечер. Вход в зал ожидания оказался платным, и я пошел на Казанский вокзал, там не нужно было платить. Сел на металлическую скамью с неудобно наклонной спинкой, поставил сумки между ног и, кое-как приютившись на этой скамье, проспал до двадцати часов. Потом в какой-то забегаловке съел пару сосисок в тесте, выпил горячий чай. Горло распухло, было больно глотать — так начинается гнойная ангина. Вышел на воздух, через силу выкурил сигарету. До отправления оставалось еще два часа, я вернулся в здание вокзала. Поглазел на киоски: вот аптека, вот продукты, напитки, туалетные принадлежности, пресса, книги, канцтовары — все доступно, все под рукой, к удобству пассажиров. В зале ожидания на высоких тумбах два больших телевизора Samsung. Я не смотрел телевизор с тех пор как оказался в этом городе. Зрелище несколько отвлекло меня. Шел выпуск новостей, показывали американские войска, готовые к вторжению в какую-то ближневосточную страну. Бравые солдаты в камуфляже выпрыгивали из бронетранспортеров, плыли авианосцы, вертолеты заходили на посадку, взвихряя вокруг себя песчаную бурю. Люди

стояли вокруг телевизора безмолвной кучей, какие показывают в советских фильмах о Второй мировой войне: люди роют траншеи, вдруг из репродуктора голос Юрия Левитана, и все замирают, слушают, а потом снова берутся за лопаты. Эти люди выглядели точно так же, только не было Левитана и траншей. А мне было смешно узнать об этом всемирном шоу, в отличие от этого народа я не чувствовал потребности раскрыть рот и развести руками. Техничка в полинялом синем халате, медленно передвигающаяся по залу с ведром и шваброй, обмыла толпу и пошла выливать грязную воду. Потом начался бокс, люди зашевелились, в глазах появился азартный огонек. А мне пора было идти к поезду.

Я вышел на улицу. Посмотрел на небо с надеждой увидеть в нем тень тяжелого бомбардировщика. Но ничего не было. Мутно-фиолетовые тучи угрюмо висели над городом. Под таким равнодушным небом смешно чувствовать себя Андреем Болконским, подумалось мне; я опустил голову и направился к подземному переходу. Сам не заметил, как миновал Комсомольскую площадь, киоски с напитками и всякой снедью, и вышел к путям. Я двигался мимо дворников, убирающих замусоренный за день перрон, милиционеров, лениво отслеживающих подозрительных граждан, в толпе мешочников, везущих на огромных тележках закупленный на оптовых рынках товар, командировочных, военных — в толпе, бессмысленной и беспощадной. Шел в сторону Комсомольской площади и чувствовал только пустоту под диафрагмой и комок слизи в распухающем горле. Машины неслись сплошным потоком, на светофоре горел красный. Слева в полнеба громоздилась зеленоватая от темноты сталинская высотка. В одном из верхних этажей, куда не доходили шум и свет ночной Краснопрудной, было приоткрыто горящее окно. Из него потоками воздуха выхватило длинную белую штору. Она трепетала на ветру, как платок в руках женщины, призывающей к примирению. До отправления поезда оставалось еще сорок минут.

*2003, 2010 г.
Кызыл—Москва*